

Very dangerous!!!⁹⁴

В последнее время в нашем журнализме стало поговать какой-то тлетворной струёй, каким-то разворотом мысли; мы их вовсе не принимаем за выражение общественного мнения, а за наитие направительного и назидательного цензурного триумвирата⁹⁵.

Чистым литераторам, людям звуков и форм, надоело гражданское направление нашей литературы, их стало оскорблять, что так много пишут о взятках и гласности и так мало «Обломовых» и антологических стихотворений. <...>

Но вот шаг дальше.

Журналы, сделавшие себе пьедестал из благородных негодований и чуть не ремесло из мрачных сочувствий со страждующими, катаются со смеху над *обличительной* литературой, над неудачными попытками *гласности*. И это не то чтоб случайно, но при большом театре ставят особые балаганчики для освистывания первых опытов свободного слова литературы, у которой еще не заросли волосы на полголове, так она недавно сидела в остроге.

⁹⁴ Статья «Very dangerous!!!» — Очень опасно!!! (*англ.*); впервые опубликована в «Колоколе» (1859. № 44). В оглавлении «Колокола» она имела подзаголовок: О нападках на обличительную литературу. Статья — первое полемическое выступление Герцена против критики так называемого «обличительного направления», либеральной гласности, проводившейся на страницах «Современника» (особенно «Свистка») и других русских журналов в 1857—1859 гг.

⁹⁵ Цензурным триумвиратом Герцен называет правительственный комитет по делам книгопечатания, в состав которого входили А.В. Адлерберг, А.Е. Тимашев и А.А. Муханов.

Когда товарищи Поэрио⁹⁶, встреченные тысячами и тысячами англичан при въезде в Лондон, не знали, что им сказать, и наконец просили простить их нескладную благодарность, говоря, что они отвыкли вообще от человеческой речи в десятилетних окопах, народ не хохотал им в ответ и «Пунш»⁹⁷, смеющийся надо всем на свете, над королевой и парламентом, не сделал карикатуры <...>

Без сомнения, смех одно из самых мощных орудий разрушения; смех Вольтера бил и жег, как молния. От смеха падают идолы, падают венки и оклады и чудотворная икона делается почернелой и дурно нарисованной картиной. С этой революционной, нивелирующей силой смех страшно популярен и прилипчив; начавшись в скромном кабинете, он идет расширяющимися кругами до пределов грамотности. Употреблять такое орудие не против нелепой цензурной троицы, в которой Тимашев представляет Святой слух, а ее трезубцем, значит участвовать с ней в отравлении мысли.

Мы сами очень хорошо видели промахи и ошибки обличительной литературы, неловкость первой гласности; но что же тут удивительного, что люди, которых всю жизнь грабили кварталные, судьи, губернаторы, слишком много говорят об этом теперь. Они еще больше молчали об этом!

Давно ли у нас вкус так избаловался, утончился? Мы безропотно выносили десять лет болтовню о всех петербургских камелиях и аспазиях, которые, во-первых, во всем мире похожи друг на друга, как родные

⁹⁶ «Товарищи Поэрио» — неаполитанские политические деятели и эмигранты, поплатившиеся за свой либерализм тюремным заключением.

⁹⁷ «Пунш» — английский сатирический журнал.

сестры, а во-вторых, имеют то общее свойство с котлетами, что ими можно иногда наслаждаться, но говорить об них совершенно нечего.

«Да зачем же обличительные литераторы дурно рассказывают, зачем их повести похожи на дело?» — Это может относиться к лицам, а не к направлению. Тот, кто дурно и скучно передает слезы крестьянина, неистовство помещика и воровство полиции, тот, будьте уверены, еще хуже расскажет, как златокудрая дева, зачерпнувши воды в бассейне, облилась, а черноокий юноша, видя быстротекущую влагу, жалел, что она не течет по его сердцу.

В «обличительной литературе» были превосходные вещи. Вы воображаете, что все рассказы Щедрина и некоторые другие так и можно теперь гулом бросить с «Обломовым» на шею в воду? Слишком роскошничаете, господа!

<...> Онегины и Печорины были совершенно истинны, выражали действительную скорбь и разорванность тогдашней русской жизни. Печальный рок лишнего, потерянного человека только потому, что он развился в человека, являлся тогда не только в поэмах и романах, но на улицах и в гостиных, в деревнях и городах. Наши литературные фланкеры последнего набора шпыняют теперь над этими слабыми мечтателями, сломавшимися без боя, над этими праздными людьми, не умевшими найтись в той среде, в которой жили. Жаль, что они не договаривают, — я сам думаю, если б Онегин и Печорин могли, как многие, приладиться к николаевской эпохе, Онегин был бы Виктор Никитич Панин, а Печорин не пропал бы по пути в Персию, а сам управлял бы, как Клейнмихель, путями сообщения и мешал бы строить железные дороги.

Но время Онегиных и Печориных прошло. Теперь в России нет *лишних* людей, теперь, напротив, к этим огромным запашкам рук недостает. Кто теперь не найдет дела, тому пенять не на кого, тот в самом деле *пустой* человек, свищ или лентяй, И оттого очень естественно Онегины и Печорины делаются Обломовыми.

Общественное мнение, баловавшее Онегиных и Печориных потому, что чуждо в них *свои страдания*, отвернется от Обломовых.

Это сущий вздор, что у нас нет общественного мнения, как говорил недавно один ученый публицист, *доказывая, что у нас гласность не нужна*, потому что нет общественного мнения, а общественного мнения нет потому, что нет *буржуазии!*

У нас общественное мнение показало и свой такт, и свои симпатии, и свою неумолимую строгость даже во времена общественного молчания. Откуда этот шум о чаадаевском письме, отчего этот фурор от «Ревизора» и «Мертвых душ», от рассказов Охотника, от статей Белинского, от лекций Грановского? И, с другой стороны, как оно зло опрокидывалось на свои идолы за гражданские измены или шаткости. Гоголь умер от его приговора; сам Пушкин испытал, что значить взять аккорд в похвалу Николаю. Литераторы наши скорее прощали дифирамбы бесчеловечному, казарменному деспоту, чем публика; у них совесть притупилась от изощрения эстетического нёба!

Пример Сенковского еще поразительнее. Что он взял со всем своим остроумием, семитическими языками, семью литературами, бойкой памятью, резким изложением?.. Сначала — ракеты, искры, треск, бенгальский огонь, свистки, шум, веселый тон, развязный смех привлекли всех к его журналу, —

посмотрели, посмотрели, поохотали и разошлись мало-помалу по домам. Сенковский был забыт, как бывает забыт на фоминой неделе какой-нибудь покрытый блестками акробат, занимавший на святой от мала до велика весь город, в балагане которого не было места, у дверей которого была давка...

Чего ему недоставало? А вот того, что было в таком избытке у Белинского, у Грановского, — того вечно тревожащего демона любви и негодования, которого видно в слезах и смехе. Ему недостаточно такого убеждения, которое было бы *делом* его жизни, *картой*, на которой все поставлено, страстью, болью. В словах, идущих от такого убеждения, остается доля магнетического демонизма, под которым работал говорящий, оттого речи его беспокоят, тревожат, будят... становятся силой, мощью и двигают иногда целыми поколениями.

Но мы далеки от того, чтоб и Сенковского осуждать безусловно, он оправдывается той свинцовой эпохой, в которой он жил.

<...> Что же похожего на то время, когда балагурничал Сенковский под именем Брамбеуса, с нашим временем? Тогда *нельзя* было ничего делать; имей себе гений Пестеля и ум Муравьева — веревки, на которых Николай вешал, были крепче. Возможность мучеников, как Конарский, как Волович, была, и только. Теперь все, везде зовет живого человека, все в почине, в возникновении, и, если ничего не сделается, в этом никто не виноват — ни Александр II, ни его цензурный терцет, ни квартальный вашего квартала, ни другие сильные мира сего, — виной будет ваша слабость, пеняйте на себя, на ложное направление и имейте самоотвержение сознать себя выморочным поколением,

переходным, тем самым, которое воспел Лермонтов с такой страшной истиной!..

Вот потому-то в такое время пустое балагурство скучно, неуместно; но оно делается отвратительно и гадко, когда привешивает свои ослиные бубенчики не к той тройке из царских конюшен, которая называется *Адлерберг, Тимашев* и *Муханов*, а к той, которая, в поту и выбиваясь из сил, вытаскивает — может, иной раз оступаясь — нашу телегу из грязи!

Не лучше ли в сто раз, господа, вместо освистываний, неловких опытов, вывести на торную дорогу — самим на деле помочь и показать, как надо пользоваться гласностью?

Мало ли на что вам есть точить желчь — от цензурной троицы до покровительства кабаков, от плантаторских комитетов до полицейских побоев. Истощая свой смех: на обличительную литературу, милые паяцы забывают, что по этой скользкой дороге можно *досвистаться* не только до Булгарина и Греча, но (чего боже сохрани) и до *Станислава на шею!*

Может, они об этом и не думали — пусть подумают теперь!

*Герцен А.И. Собр. соч. В 30 т.
М., 1958. Т. 14. С. 116—121.*